

**Москва и Москвичи
150 лет спустя.
Книга-трибьют**

Виктор Загоскин

Виктор Загоскин

**Москва и Москвичи 150
лет спустя. Книга-трибьют**

«Автор»

2026

Загоскин В.

Москва и Москвичи 150 лет спустя. Книга-трибьют /
В. Загоскин — «Автор», 2026

Спустя полтора столетия после того, как Михаил Николаевич Загоскин запечатлел образ старой Москвы в своей знаменитой книге, его прямой потомок, Виктор Загоскин, вступает в личный и глубокий диалог с предком. Эта книга - не просто мемуары о «лихих девяностых», а уникальный литературный трибьют, в котором два времени - середина XIX века и рубеж XX–XXI веков - накладываются друг на друга, обнажая неизменную суть великого города. Автор проводит поразительные параллели между двумя эпохами великих потрясений. Там, где Михаил Николаевич описывал неторопливый скрип купеческих телег и звон колоколов, Виктор Загоскин вспоминает лязг мусоровозов в Крылатском и шум первых очередей. В московском «бомбиле» 90-х узнается лихой извозчик прошлого, на месте старых торговых рядов вырастают стихийные рынки и «Черкизон», а малиновые пиджаки нуворишей становятся зеркальным отражением купеческого самодурства былых времен.

© Загоскин В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СМЕНА ЭПОХ (1990–1993)	7
Глава 1. Последний год империи	7
Глава 2. Год распада	12
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Виктор Загоскин

Москва и Москвичи 150

лет спустя. Книга-трибьют

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Дорогой читатель,

Книга, которую ты держишь в руках, родилась не только из памяти, но и из внутренней необходимости вступить в разговор с прошлым. Это попытка протянуть нить через полтора столетия и обратиться к человеку, который жил в другой России, видел другую Москву и, тем не менее, писал о городе, сущность которого поразительным образом осталась узнаваемой. Я говорю о Михаиле Николаевиче Загоскине, моем далеком предке, авторе книги «Москва и москвичи», созданной в середине XIX века. Его Москва и моя Москва разделены историческими катастрофами, сменой империй, революциями, войнами, крахом советского строя и рождением новой страны. Но чем внимательнее я вглядывался в его текст, тем отчетливее понимал: мы оба писали не только о городе, но и о человеческой природе, которую Москва проявляет особенно ярко, почти беспощадно.

Михаил Николаевич знал Москву купеческую, дворянскую, церковную, неторопливую на первый взгляд, но уже тогда внутренне беспокойную, противоречивую и полную скрытого напряжения. Я знал Москву совсем иную - позднесоветскую, а затем постсоветскую; Москву разваливающегося государства, пустых прилавков, первых рынков, бандитского капитала, ларьков, стихийной торговли, приватизации, хаоса, дорогой показной роскоши и повседневного унижения. Однако суть города от перемены исторических костюмов не исчезла. Москва по-прежнему оставалась местом, где сталкиваются амбиция и бедность, дерзость и страх, энергия и разложение, сила и беззащитность.

Для моего предка Москва была прежде всего городом характеров. Я, оглядываясь на 1990-е годы, готов повторить за ним эту мысль, хотя и вынужден добавить, что характеры эти стали жестче, грубее, нервнее и, в известном смысле, трагичнее. Москва 1990-х годов была городом, в котором каждый прожитый день напоминал испытание. Здесь можно было в одночасье подняться и так же стремительно исчезнуть; можно было разбогатеть, сломаться, пропасть, сойти с ума, уехать, погибнуть. Это был город абсолютной свободы - но и абсолютной незащищенности. Город, где одновременно рождались новые возможности и новый страх.

Я не претендую на роль историка в строгом смысле слова. Эта книга не исследование и не академическая реконструкция. Это личное свидетельство, личный взгляд, личная память. Я сознательно пишу о Москве через сопоставление с текстом Михаила Николаевича, потому что в этом сопоставлении особенно ясно видно, как мало меняется сущность большого города, даже когда меняется все вокруг него. Там, где он видел московского извозчика, я вспоминаю маршрутника и бомбилу. Там, где он писал о торговых рядах, я вижу кооперативные палатки, толкучки и рынки. Там, где он выделял московские типы своего времени, я узнаю те же архетипы, только одетые уже не в сюртуки и шинели, а в кожаные куртки, турецкие дубленки и малиновые пиджаки.

Эта книга посвящена Москве - городу, который я люблю с той мучительной и нерациональной силой, с какой любят только то, что однажды глубоко ранило и навсегда стало частью тебя. Это город, который меня вырастил, испугал, ожесточил, сформировал, а потом заставил уехать. Но, как бы далеко я ни оказался, Москва не отпускает. Она продолжает звучать во мне

интонацией речи, привычкой думать, способом смотреть на людей, даже скоростью шага. И потому эта книга - не только о городе. Она еще и о том, что делает город с человеком.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СМЕНА ЭПОХ (1990–1993)

Глава 1. Последний год империи

Москва просыпается

Михаил Николаевич, описывая Москву своего времени, любил начинать с раннего утра - с того часа, когда город только открывает глаза и постепенно наполняется звуками. В его книге старая Москва просыпается вместе со скрипом телег, голосами уличных торговцев, колокольным звоном, движением дворовой и уличной жизни. Это пробуждение кажется неторопливым, почти естественным, как будто город существует в согласии со своим ритмом и не нуждается в постоянной нервной спешке.

Моя Москва 1990 года просыпалась совсем иначе. Вернее, правильнее будет сказать, что она как будто и не засыпала вовсе.

Январь 1990 года. Мне девять лет. Просыпаюсь я в пять утра от грохота мусоровоза, который с завидной регулярностью приезжает во двор нашего дома в Крылатском и долго, тяжело, с металлическим лязгом переворачивает контейнеры. Этот звук - один из главных звуков моего детства, не менее характерный для той эпохи, чем телевизионные заставки, объявления в метро или скрип автобусных дверей. Мама уже не спит: она одевается и собирается в очередь. Куда именно - неизвестно. Это может быть «Диета» на Осеннем бульваре, универсам на Крылатской улице, гастроном в соседнем квартале или любой другой магазин, где, по слухам, «выбросили» что-нибудь ценное: яйца, масло, сахар, колбасу, крупу. В те годы главным было не знать заранее, что и где появится, а встать раньше других и успеть занять место. Кто вставал поздно, тот рисковал вернуться с пустыми руками.

Отец к этому времени уже уходил на работу. Он был инженером на оборонном предприятии - профессия по советским меркам солидная, почти уважаемая, но в 1990 году уже стремительно терявшая свое прежнее значение. Его зарплата все еще позволяла семье не голодать, но уже переставала обеспечивать более или менее нормальную, человеческую жизнь. А разница между «не голодать» и «жить» в Москве последнего советского года была огромной. Не голодать означало иметь дома макароны, хлеб, картошку, иногда яйца. Жить - означало покупать мясо, фрукты, хороший сыр, колбасу, одежду без многочасовой охоты и, главное, не думать постоянно о том, что будет через неделю. Жить мы уже не могли себе позволить.

Если старая Москва, которую знал Загоскин, в его описаниях часто предстает городом рынков, лавок и товарного разнообразия, то моя Москва стояла перед глазами как пространство нехватки. Охотный Ряд моего детства - это еще не подземный торговый центр с подсветкой, брендами и стеклом, а продуваемая ветром площадь перед гостиницей «Москва», с серой слякотью под ногами, с газетами, которые ветер гоняет по асфальту, с ощущением пустоты и недосказанности. Изобилия не было почти нигде. Магазинные полки казались вычищенными до последнего следа, будто по ним действительно прошла какая-то историческая катастрофа, оставив после себя только пыль, бумажные ценники и усталость продавщиц.

Город очередей

Очередь в Москве 1990 года была не просто бытовым явлением. Это был настоящий социальный институт, отдельная форма существования, со своими правилами, ритуалами, конфликтами, психологией и даже моралью. Очередь нельзя понимать только как людей, выстроившихся за товаром. Очередь в позднесоветской Москве - это образ жизни.

Люди начинали собираться задолго до открытия магазина. Приходили затемно, записывали номера друг у друга на ладонях или клочках бумаги, устраивали переключки, следили, чтобы никто не пролез без очереди, спорили, ругались, мирились, передавали новости, обсуж-

дали политику, рецепты, цены, болезни, детей, слухи о новых поставках и слухи о скором конце страны. В очереди можно было простоять три-четыре часа, а иногда и весь день. Очередь была одновременно местом выживания, местом общения и местом коллективного нервного напряжения.

Я особенно помню одну очередь - семейную, почти эпическую в наших домашних преданиях. Февраль 1990 года, мороз, ветер с реки, снег скрипит под ногами. Мы стоим за яйцами: мама, папа, бабушка, дед, тетя Галя и я. Шестеро человек ради шести десятков. На каждого полагается по одной упаковке. Для современной городской логики это звучит почти абсурдно, но тогда это была маленькая победа, добыча, результат целой тактической операции. В тот день шесть десятков яиц казались не бытовой мелочью, а настоящим трофеем, который обеспечивал семью едой надолго.

Я стоял, прижимаясь к маминому пальто, и смотрел на лица вокруг. Эти лица запомнились мне, может быть, даже сильнее, чем сам дефицит. Серые, усталые, сдержанно злые, напряженные. Люди почти не улыбались. Никто не выглядел расслабленным или беспечным. Все были заняты одной задачей - достать, выстоять, не упустить, не дать себя обойти. Именно тогда, в свои девять лет, я впервые очень остро почувствовал одну простую и жестокую истину о Москве: это город, который не любит слабых. Он не защищает, не утешает, не делает скидку на усталость. Он испытывает человека на прочность и быстро показывает, кто способен удержаться на плаву, а кто нет. Я думаю, что в этом смысле Москва была одинакова и в XIX веке, и в 1990-м: менялись обстоятельства, но не менялась внутренняя суровость городской жизни.

Крылатское - моя малая родина

Крылатское 1990 года - это молодой спальный район на западе Москвы, построенный в олимпийскую эпоху и все еще сохранявший иллюзию новизны. На бумаге и в официальных описаниях район выглядел почти идеальным: зеленый, современный, благоустроенный, с велотреком, гребным каналом, холмами, широкими улицами и перспективой нового, «правильного» советского города. В реальности все было сложнее и грубее.

Да, район действительно был зеленым. Да, простор здесь ощущался сильнее, чем в старых частях Москвы. Да, природа - холмы, река, деревья, открытые пространства - создавала впечатление свободы, редкое для большого города. Но вместе с этим Крылатское оставалось типичным позднесоветским спальником: длинные одинаковые многоэтажные дома, дворы с ржавыми качелями, подъезды с облупленной краской, мусор, который вывозили нерегулярно, и постоянное чувство некоторой заброшенности. Район словно был построен с большим замашом, но быстро оставлен наедине с общей деградацией государства.

При этом Крылатское действительно ощущалось границей. За гребным каналом начиналось уже что-то полудеревенское, за холмами тянулись леса, за кольцевой дорогой лежала другая, не вполне московская Россия. В детстве это чувствовалось особенно сильно: ты живешь вроде бы в столице, но одновременно на самом краю цивилизации. Зимними вечерами, когда двор погружался в полутьму, а редкий фонарь мигал и гас, это ощущение становилось почти физическим. Москва здесь кончалась не только административно, но и эмоционально: дальше начиналась зона неизвестности.

Под Новый год 1989-го нам открыли станцию метро «Крылатское», и это было событие почти фантастического масштаба. До ее появления дорога в центр напоминала целую экспедицию с пересадками, автобусами и вечной зависимостью от наземного транспорта. Теперь же под боком появилось метро - символ цивилизации, порядка, скорости, связи с остальной Москвой. Я до сих пор помню наше первое спускание на станцию: свежая отделка, запах краски и сыроватого камня, чистая платформа, блестящие поверхности, ощущение новизны. Метро не просто экономило время. Оно расширяло мир. Центр переставал быть чем-то далеким и почти мифологическим; он становился достижимым, почти своим.

Москва сверху

Загоскин, как и многие писатели XIX века, любил смотреть на Москву с высоты - как на город, который лучше всего открывается в панораме, в общей картине, где купола, сады, дома и улицы складываются в цельный образ. Для старой Москвы этот взгляд сверху имел особую силу: город действительно был низким, купольным, растительным, и сверху казался почти бесконечным садом.

Моя Москва, если смотреть на нее с Крылатских холмов, выглядела иначе. Оттуда, в ясный день, было видно многое: центр, силуэты сталинских высоток, в первую очередь МГУ на Воробьевых горах, промышленные зоны, серые массивы панельных кварталов, тянущиеся к горизонту. Вместо города-сада перед глазами расстиралось огромное пространство бетона, асфальта, дыма и типового жилья. И все же в этой картине была своя суровая красота.

Особенно красивой Москва становилась зимой, когда снег скрывал грязь, визуально объединял разнородные пространства и делал город неожиданно чистым. Или ранней весной, когда над Москвой-рекой поднимался туман, размывая резкие контуры панельных домов и превращая бетонный пейзаж в почти акварельный. Такие моменты обманывали. На несколько минут могло показаться, что город стал мягче, человечнее, тише. Но это было только впечатление. В сущности Москва оставалась той же.

Политический шторм

1990 год был не просто тяжелым или нервным - он был переломным. В воздухе уже чувствовалось, что огромная страна, в которой мы живем, начала трещать по швам и что Москва, как столица, особенно остро ощущает каждую новую трещину. Республиканские суверенитеты, национальные конфликты, телевизионные новости из Вильнюса, Баку, Тбилиси, Карабаха - все это входило в московскую повседневность через экран телевизора и через общую атмосферу тревоги.

Для ребенка политика в чистом виде непонятна, но настроение эпохи он считывает безошибочно. Я не понимал деталей, не различал тонкостей союзного законодательства и не следил за заседаниями съездов народных депутатов. Но я чувствовал, как взрослые все чаще говорят вполголоса, как новости становятся источником страха, как страна вокруг перестает казаться чем-то прочным и вечным. Позднесоветская стабильность растворялась на глазах, и даже ребенок понимал: взрослые больше не уверены в завтрашнем дне.

Москвой в тот момент руководил Гавриил Попов - человек интеллигентный, образованный, скорее теоретик, чем хозяйственник. На фоне надвигавшегося хаоса он производил впечатление фигуры несколько случайной, будто попавшей в эпицентр исторической бури без достаточного количества инструментов для управления ею. Москва 1990 года была городом без настоящего хозяина. Она жила инерцией старой системы, которая уже не работала, и страхом перед новой, которая еще не возникла.

Запах эпохи

У всякой эпохи есть не только свои звуки, цвета и лица, но и свой запах. Старая Москва, которую описывал Загоскин, наверняка пахла иначе: дровяным дымом, пекарнями, конюшнями, мокрой мостовой, ладаном, человеческой жизнью, смешанной с природой и городской теснотой. Это были плотные, насыщенные, почти осязаемые запахи старого мира.

Москва 1990 года имела свой резкий и неприятный запаховый портрет. Подъезды пахли сыростью, кошачьей мочой, табачным дымом и старой краской. Метро - влажным камнем, креозотом, потом, железом и одеждой тысяч людей. Магазины пахли пустотой - это трудно объяснить тому, кто не жил в эпоху дефицита, но у пустых полок действительно был свой запах: затхлый, бумажный, пыльный, с примесью дешевого линолеума и давно исчезнувших продуктов. Дворы пахли мусором, бензином, мокрым снегом и выхлопами старых машин.

И все же был еще один запах - тот, который я задним числом называю запахом свободы. Он чувствовался не в городе как таковом, а на его окраине, на крыше дома, на холмах, у воды, в ветре, который приносил запах сырой земли и травы. В такие минуты вдруг возникало стран-

ное ощущение, что мир все-таки больше, чем пустые магазины, страх взрослых и разговоры о распаде страны. Мир казался открытым. Именно это чувство и делало ту эпоху двусмысленной: с одной стороны - бедность, унижение и хаос, с другой - ощущение, что старые стены рушатся и впереди, пусть в тумане, но действительно может быть что-то новое.

Дети перестройки

Мне было девять лет, когда перестройка вошла в мою жизнь не как политический термин, а как среда обитания. Мы, дети конца 1980-х и начала 1990-х, росли в странном промежутке между двумя мирами. Старый советский мир еще сохранял внешние признаки существования: в школе оставались старые учебники, лозунги, портреты, привычные ритуалы. Но внутренне этот мир уже умер. Новый же еще не оформился и не предложил ни правил, ни идеалов, ни даже понятного языка.

В школе нас по-прежнему учили так, будто все вокруг остается прежним: Ленин был велик, Октябрь - судьбоносен, Советский Союз - передовая страна мира. Но дома телевизор показывал нечто совсем другое. И возникало странное раздвоение сознания: официальные формулы продолжали звучать, но никто, кажется, уже не верил в их реальность. Мы росли в этом разрыве, и в нем было нечто одновременно пугающее и возбуждающее. Если прежняя система больше не действует, значит, может произойти что угодно. А если может произойти что угодно, значит, будущее открыто - даже если оно страшно.

Дети прошлых эпох, о которых писал Загоскин, жили в мире значительно более структурированном. Их судьбы были жестче предопределены сословием, полом, семьей, образованием. Мы же росли в пространстве распада и неопределенности, где, с одной стороны, исчезли многие старые ограничения, а с другой - исчезли и почти все гарантии. Это ощущение неопределенного, текучего мира стало главным опытом моего поколения.

Телевизор как окно в мир

В 1990 году телевизор был не просто бытовым прибором. Он был главным окном в мир, главным источником информации, главным производителем страха и надежды. Интернета не было. Мобильных телефонов не было. Газеты существовали, но именно телевизор определял ритм общественного восприятия событий.

Вечерняя программа «Время» была почти священным ритуалом. Семья собиралась у экрана, и оттуда на нас смотрела страна - уже не монолитная, не уверенная, а растерянная и нервная. Новости становились все тревожнее. Национальные конфликты, митинги, дефицит, забастовки, политические споры, лица новых лидеров - все это входило в дом через дрожащий экран и делало историю интимно близкой.

Для человека XIX века, каким был мой предок, источником новостей оставались газеты, письма, разговоры, личные наблюдения. Его информационный мир был медленнее, ограниченнее, локальнее. Мой - уже массовый, визуальный, непрерывный. И, пожалуй, именно телевизор научил нас жить в режиме постоянного кризиса: каждый день приносил новую порцию тревоги, и постепенно тревога становилась нормой.

Визитная карточка покупателя

Одним из самых характерных символов московской повседневности 1990 года была так называемая визитная карточка покупателя - ламинированная карточка с фотографией, подтверждавшая, что ты москвич и имеешь право приобретать дефицитные товары в столичных магазинах. Это кажется почти абсурдным, но тогда воспринималось как естественная часть быта.

Карточка превращала человека не просто в покупателя, а в единицу учета. Она символизировала не рынок, а распределение; не свободу выбора, а нормированное право на доступ к остаткам товара. Деньги сами по себе уже мало что значили. Главным становилось право купить, и даже оно было ограничено. Можно было иметь наличные, но не иметь возможности

приобрести нужное. Это создавало ощущение унижения и бессилия, которое трудно передать современному человеку.

Я хорошо помню, как мама боялась потерять свою карточку. Потеря такой вещи означала не просто бюрократическую неприятность, а реальную угрозу для семейного быта. Восстановление требовало времени, справок, походов по инстанциям, а без карточки человек на некоторое время выпадал из системы распределения. В этом было что-то глубоко советское: даже в момент распада государство продолжало контролировать доступ к самому элементарному.

Колбасные поезда

Еще одним характерным явлением той Москвы были так называемые «колбасные поезда». Жители ближайших областей и городов - Тулы, Калуги, Рязани, Твери и других - ехали в Москву за продуктами, которых у себя дома достать не могли. Они приезжали с огромными сумками, выстаивали те же очереди, штурмовали магазины и увозили продукты обратно.

Москвичи относились к ним с раздражением, переходящим в агрессию. Слово «понаехали» звучало в очередях постоянно. Это была особая форма ксенофобии - не этнической, а бытовой, столичной, направленной против людей, которые в сущности были такими же жертвами дефицита, но воспринимались как чужаки, отнимающие последнее. В этом проявлялась одна из постоянных московских черт: стремление разделить мир на «своих» и «прочих» и ревниво охранять доступ к благам, какими бы жалкими эти блага ни были.

Так Москва уже тогда училась быть городом привилегированного неравенства, где статус столичного жителя сам по себе становился ресурсом. И это ощущение собственной исключительности, даже на фоне всеобщего развала, будет сопровождать город и дальше.

Глава 2. Год распада

1991 год, который изменил все

Если 1990 год был временем предчувствия, нервного ожидания и нарастающего распада, то 1991-й стал годом окончательной развязки. Все, что долго копилось, нарастало, сгушалось в воздухе, в этом году прорвалось наружу. Для страны это был год исторического перелома. Для Москвы - год, когда история буквально вышла на улицы.

Мне было десять лет. Лето и начало осени того года я запомнил не как непрерывный политический процесс, а как набор ярких, почти сюрреалистических образов: телевизор, лица взрослых, тревожные интонации, слова, смысл которых я понимал не до конца, но эмоциональный заряд ощущал сразу. Это было время, когда даже ребенок видел: привычный мир разваливается не где-то далеко, а прямо сейчас, на глазах.

Августовский путч

Август 1991 года. Я на даче в Подмоскowie, в деревне Варюковка Шатурского района. Жара, трава, тихая деревенская медлительность, пруд, запах воды и нагретой земли. Все выглядит так, будто жизнь должна течь спокойно и по-летнему лениво. И вдруг телевизор начинает показывать «Лебединое озеро». Этот образ - один из сильнейших символов позднесоветской катастрофы. Даже ребенок сразу чувствовал: если вместо обычных передач по всем каналам идут балетные повторы, значит, в стране происходит что-то ненормальное.

Затем последовало заявление ГКЧП, сухое, канцелярское, холодное. Я не мог понять его содержания до конца, но видел реакцию взрослых. Бабушка побледнела. Дед закурил - резко, молча, тревожно. Вскоре стало ясно: в Москве танки.

Сами слова «танки в Москве» звучали как нарушение всех мыслимых законов жизни. Для ребенка Москва была местом метро, магазинов, школ, дворов, книжных прилавков, очередей, телевизора - но не войны. Танки принадлежали парадам, историческим фильмам, рассказам о Великой Отечественной. Их появление на улицах столицы означало, что история, которую прежде воспринимали как нечто прошлое, вернулась в самый центр современности.

Танки на Тверской

Москва XIX века, которую знал Загоскин, тоже видела военных, парады, церемониальные проезды, государственное величие. Но в августе 1991-го военная техника на улицах столицы означала не праздник силы, а угрозу. Танки на Тверской, бронетехника в центре, нервные сводки, слухи, баррикады - все это создавало ощущение реального риска. Казалось, что свобода последних лет, сколько бы условной она ни была, может кончиться за одно утро.

И все же Москва тогда сделала то, чего от нее, возможно, не ожидали. Люди вышли к Белому дому. Не все, конечно, но достаточно многие, чтобы исторический сценарий дал сбой. Это были разные люди: молодежь, интеллигенция, рабочие, случайные прохожие, романтики, антикоммунисты, просто те, кого возмутил сам факт попытки вернуть страну назад силой. Они строили баррикады, стояли перед техникой, спорили, дежурили, приносили еду и надеялись, что армия не пойдет до конца.

Я видел все это по телевизору, находясь далеко от центра событий, и именно в этом было что-то новое и сильное: история больше не приходила с запозданием, из учебников или рассказов. Она происходила в прямом эфире. Ельцин, стоящий на танке, толпа у Белого дома, возбужденные лица, ощущение драматического момента - все это производило огромное впечатление. Тогда многим казалось, что победила свобода. Сейчас, задним числом, я бы сказал осторожнее: победил один исторический миф, за которым вскоре пришли другие.

Конец империи

Декабрь 1991 года. Советский Союз перестает существовать. Формально - после Беловежских соглашений, фактически - как итог многолетнего внутреннего распада. Но для мил-

лионов людей это выглядело почти невероятно: огромное государство, в котором они родились и которое казалось вечным, исчезло практически без войны за центр, без последнего грандиозного сражения, почти канцелярским жестом.

25 декабря 1991 года красный флаг был спущен над Кремлем, и на его месте подняли триколор. Я смотрел это по телевизору и, как многие дети, не чувствовал всей глубины происходящего. Для меня это была смена символа, красивая, но еще не наполненная личным смыслом. Для моих родителей все было иначе. Для них вместе с этим флагом заканчивался целый мир - не обязательно любимый, не обязательно справедливый, но привычный, понятный, построенный вокруг набора устойчивых представлений о государстве, карьере, будущем, социальной лестнице и общей реальности.

Москва в тот день не взорвалась, не вышла вся на улицы, не стала ареной народного торжества или народного траура. Она словно онемела. Город, привыкший быть столицей великой державы, вдруг оказался столицей чего-то нового, еще не названного в полной мере, еще не осмысленного. Это было странное, почти физическое чувство опустошения. Империя ушла, а новая Россия еще не родилась.

Новая Москва

С 1 января 1992 года Москва официально стала столицей Российской Федерации. Но это новое название долго воспринималось как нечто не до конца реальное. Еще вчера - столица сверхдержавы, центра огромного блока, политической оси мира. Сегодня - столица страны, которая еще не понимает ни собственных границ, ни своих возможностей, ни глубины собственного падения.

Главным ударом начала 1992 года для обычных людей стали гайдаровские реформы и либерализация цен. Накопления, которые семьи держали на сберкнижках десятилетиями, в считанные недели обесценились. То, что годами откладывали «на черный день», внезапно оказалось почти бумажным мусором. Впрочем, при этом произошло другое чудо - или, точнее, антипод чуда. Полки магазинов начали наполняться. После долгих лет пустоты вдруг стало можно купить почти все. Но уже не потому, что государство наладило снабжение, а потому, что товары отпустили в свободное ценовое плавание. Изобилие вернулось, но стало недоступным.

Это был жестокий урок раннего капитализма по-русски. Москва начала стремительно расслоиться. Рядом оказывались нищий пенсионер, пересчитывающий последние рубли, и человек в новом импортном пальто, только что купивший себе валюту. На одних улицах торговали поштучно сигаретами и семечками, на других уже открывались первые коммерческие магазины с иностранными товарами. Старый советский фасад осыпался, обнажая не равенство, а чудовищную разницу между теми, кто сумел встроиться в новый порядок, и теми, кого этот порядок сразу выбросил за борт.

Рынок Москвы

К 1992 году Москва начала превращаться в гигантский рынок в буквальном, почти средневековом смысле слова. Торговля выплеснулась на улицы, в подземные переходы, к метро, на площади, во дворы. Казалось, весь город начал что-то продавать, покупать, менять, перепродавать, доставать, ввозить, выносить, складировать и снова продавать.

У каждой станции метро возникали стихийные ряды. Люди раскладывали товар на коробках, газетах, табуретках, пластиковых ящиках. Продавали все: редиску с дачи, домашние соленья, кассеты, батарейки, сигареты, свитера, детские колготки, водку сомнительного происхождения, старые книги, парфюмерию, жвачку, турецкие куртки, китайские игрушки. Граница между личным заработком, мелким предпринимательством, полукриминалом и откровенной нелегальщиной почти отсутствовала.

У выхода из метро в Крылатском происходило то же самое. Старушки торговали тем, что могли вырастить, связать или собрать. Мужики продавали спиртное. Подозрительные личности предлагали что-то шепотом. Милиция присутствовала рядом, но чаще не в роли хранителя

порядка, а в роли структуры, которая собирает свою долю с этого хаоса. Так Москва училась рынку - не через законы и институты, а через уличное выживание.

Первые ларьки

Пожалуй, ни один визуальный образ не связан у меня с Москвой 1990-х так сильно, как ларек. Эти металлические коробки возникали повсюду с невероятной скоростью. Они могли стоять у метро, на перекрестке, у автобусной остановки, в переходе, у жилого дома, возле рынка. Иногда это были переоборудованные киоски советского типа, иногда - наскоро сваренные конструкции, обклеенные яркой рекламой сигарет, жвачки и газировки.

Ларек был символом новой уличной экономики. Через его маленькое окошко в город входил капитализм - в своем самом примитивном, хаотичном и вульгарном виде. Здесь можно было купить почти все, чего не было или почти не было в позднем СССР: импортную жвачку, шоколадные батончики, презервативы, батарейки, сигареты, кассеты, алкоголь, газеты, иногда даже порнографические журналы. Ассортимент зависел от фантазии хозяина, его связей, качества поставок и уровня риска, на который он был готов идти.

Для ребенка ларек был местом чудес. Именно там продавались жвачки с вкладышами - «Turbo», «Love is...», «Donald». Коллекционирование этих бумажек было одной из маленьких страстей того времени, детским способом ощутить причастность к большому внешнему миру, к чему-то яркому, заграничному, новому. Вкладыш, картинка, запах жвачки, обертка - все это казалось куда важнее, чем сегодня может показаться взрослому человеку. В мире, где было так много серости и нехватки, любая яркая мелочь превращалась в событие.

Криминальная революция

В 1992–1993 годах Москва стремительно погружалась в новую криминальную реальность. Бандит перестал быть фигурой из уголовной хроники и стал частью повседневного городского ландшафта. Он был видим, осязаем, узнаваем. Бандиты ездили по улицам, сидели в ресторанах, держали рынки, крышевали бизнес, решали вопросы, появлялись в новостях, мелькали в разговорах взрослых, а иногда и напрямую входили в жизнь дворов, школ, семей.

Практически любой бизнес нуждался в «крыше». Ларек, магазин, торговая точка, авто-сервис, кафе - все должны были кому-то платить. Отказ означал неприятности, и неприятности эти были не символическими. Разбитые витрины, поджоги, избиения, угрозы, исчезновения - все это было частью системы, а не исключением. Закон существовал формально, но фактически значительную часть городской экономики регулировали группировки.

Если старый криминальный мир, о котором можно прочесть в мемуарах или дореволюционных очерках, строился вокруг отдельных воров, шулеров, налетчиков, то московский криминал 1990-х носил уже индустриальный характер. Это были хорошо организованные структуры со своими территориями, иерархиями, связями в милиции, бизнесе и власти. Солнцевские, ореховские, таганские и другие группировки делили город на зоны влияния так, будто речь шла о средневековых княжествах.

Октябрь 1993 года

Если август 1991 года вошел в память как драматическая, но все же почти героическая сцена, то октябрь 1993-го стал для Москвы подлинной трагедией. Внутриполитический конфликт между президентом и парламентом, долго назревавший и усиливавшийся, вылился в вооруженное противостояние в центре столицы.

Сентябрьское решение Ельцина о роспуске парламента раскололо политическую систему окончательно. Верховный Совет не подчинился, депутаты засели в Белом доме, вокруг начали собираться их сторонники. Москва снова стала ареной уличной политики, но теперь все было куда опаснее и мрачнее. 3 октября толпа пошла к Останкино, начались столкновения, стрельба, хаос. 4 октября по Белому дому били танки.

Мне было двенадцать лет. Я смотрел по телевизору, как горит парламентское здание в центре моего города. Черный дым, пробоины, огонь, растерянные ведущие, кадры, которые

казались невероятными именно потому, что были московскими, а не заграничными. Это был момент, когда я окончательно понял: Москва - не безопасная столица большого государства, а пространство, где государство способно стрелять по себе на глазах у всех.

Впоследствии о тех днях будут спорить бесконечно: кто прав, кто виноват, кто спровоцировал, кто спас страну, кто разрушил конституционный порядок. Но на уровне личной памяти остается одно: ощущение войны, которая внезапно пришла в центр города. И вместе с этим - ощущение окончательного конца советского, постсоветского, перестроечного переходного периода. После октября 1993-го стало ясно, что новая Россия рождается не в результате договоренности, а в результате силы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.